

Телешов Николай Дмитриевич

Меж двух берегов

Николай Дмитриевич Телешов

МЕЖДУ ДВУХ БЕРЕГОВ

I

Одиноко кричит где-то пароход... Голос его разносится далеко окрест по пустым берегам, по широкому лону реки. Непонятно, для чего он кричит, когда вокруг не видно ни жилья, ни хижины, ни человека. Непонятно и то, куда торопится так Иртыш, стремительно гоня по простору свои быстрые бурые воды. Крутыми холмами извилисто тянется на много верст правый берег, весь обросший березами и тальником, где в тени плодятся рыжики да на припеке морошка, а левый берег раскидывается до горизонта зеленым ковром от самой воды до самого неба.

И ни жилья вокруг не видно, ни хижины, ни человека. Иногда лишь среди тишины всплескивается большая рыба и, как камень, идет ко дну, в илистые глубины, оставляя на поверхности широкий струйчатый круг - на минуту, иногда поперек, через реку, дикие утки перелетают, вытянув шею и нос в одну линию; редко-редко на крутом берегу встретится татарский поселок с длинным дощатым минаретом, серым от непогод, или русская деревушка с плетнями, с горшками на кольях и с тряпками на веревках. И опять пустота, безлюдие, песчаные откосы и зелень - на много верст, на много часов.

Одиноко кричит пароход... Нет ему ни встречною, на попутчика, но он кричит уже час - настойчиво, протяжно, и громко, точно воет, жалуясь на непосильное бремя.

Называется он "Сокол". Сам он маленький, окрашенный в белый цвет, с большой черной трубой. Напрягаясь изо всех сил, он старательно тащит на длинном канате за собою огромную баржу с тяжелым грузом и кричит только раз в сутки, задолго оповещая окрестные села о своем приближении. В сутки раз он кричит и в сутки раз останавливается: брать дрова и провизию.

На пароходе была кухня и был повар Иван Михайлович, сухощавый, благообразный старичок, ходивший в белом халате и белом колпаке. Человек он был крайне угрюмый и признавал только одни обязанности.

- Я-с обязан накормить команду, - строго говорил он пассажиру, пытавшемуся получить у него обед, - а вы обязаны о себе сами заботиться. Пожалуйста провизию, - я должен ее изготовить, а запастись провиантом это уже ваша-с личная обязанность.

- Да где же я ее возьму, провизию? - вскипал голодный пассажир.

- Будет остановка и берите-с.

- Да когда ж она будет? Едем, едем, точно по океану. Когда она будет?

- Завтрашний день-с.

- Да я с голоду подохну! Что за безобразия!

На это Иван Михайлович спокойно пожимал плечами.

- Что ж делать-с, грамманжа пуста, - указывал он на запертый чулан с лаконической вывеской "Граманжа". - Обязаны сами о себе заботиться. Кипятку, извольте-с, дам, - говорит он в утешение.

Проморив пассажиров за первые сутки, он достиг того, что все начали ежедневно вступать с ним в ласковые переговоры и вежливо просить о себе позаботиться.

- Уж, пожалуйста, Иван Михайлович, на завтра мне супцу оставьте... немного... тарелочку. Потом еще чего-нибудь на мою долю купите... Что найдете.. все равно. Я все люблю.

Тоскливо и медленно проходили дни и вечера. Из пливших на пароходе в большинстве были крестьяне, старухи, женщины с детьми и рабочие, ютившиеся на деревянных нарах возле машины, где было тепло и тесно. Пассажиры второго класса было немного, но и те прятались по отдельным каютам, так что "Сокол" мог показаться безлюдным. Иногда лишь на палубу выбегал офицер с всклокоченной бородой и, ежась от холодного ветра и потирая руки, решительными быстрыми шагами проходил взад и вперед по палубе и снова скрывался. Иногда являлся капитан, высокий молодой человек, почти юноша, в кожаной куртке, валяных сапогах и в оленьей шапке:

он молча подходил к стеклянной вышке, где лоцманы вертят рулевое колесо, молча и тоскливо глядел вперед несколько минут и, посиневши от холода, уходил обратно к себе. Нередко появлялся на палубе человек средних лет, одетый в ватное пальто и широкополую шляпу, с редкой русой бородкой, в очках и теплых перчатках. Накинув на шею плед, он долго простаивал на одном месте и глядел на бесконечную линию берега, на сменяющиеся холмы и откосы.

- Вы не доктор? - неожиданно спросил его офицер, выбежав из своего подполья.

- Нет, я учитель.

- А в карты вы не играете?

- Нет.

- Ну, до свидания!

Офицер побежал обратно вниз по лестнице, и когда осталась видна только его голова, он крикнул учителю:

- Не прозевайте, сейчас остановка!

Действительно, "Сокол" вскоре остановился. Часа два стоял он у бревенчатого помоста. По перекинутым сходням все время ходили взад и вперед матросы с носилками, ссылая в люк дрова с грохотом и прибаутками.

Не напрасно, однако, кричал "Сокол" так задолго до своего прихода: окружные жители успели принести сюда что что мог. Остяки-рыболовы привезли в челноках стерлядей и нельмы, бабы захватили хлеба, ватрушек и молока, мальчишки притащили уток и огурцов, девочки - яиц и ягод, а старики домашней браги в берестовых бураках.

Пассажиры повеселели. Только повар, Иван Михайлович, был недоволен чем-то и, заложив руки в карманы, угрюмо пробирал двух мужиков, а те молча и виновато чесали затылки и глядели вкось, оба в разные стороны.

После долгого ненастья к вечеру погода переменилась, и когда "Сокол" тронулся в путь, ветер уже затих, стало тепло и ясно, и пассажиры вышли на палубу. Их было всего четверо: молодой семинарист, ехавший в Москву в университет, старый чиновник с кокардой, учитель и турист - иностранец, говоривший свободно по-русски. К ним подошел капитан, стал рассказывать туристу об Иртыше, об инородцах - и разговор вскоре сделался общим.

- Не желаете ли сегодня на палубе поужинать? - ласково спросил Иван Михайлович, подходя к капитану. - Ишь господь какую благодать посылает, добавил он, указывая на берег и на небо и нюхая чистый речной воздух. Очень хорошую нельму приобрел по вашему поручению и сливок хороших... Могу бламанже предложить.

Капитан хотел что-то ответить, но в это время на палубу вбежал офицер; вид у него был возбужденный, глаза растерянные.

- Иван Михайлович! - обратился он прямо к повару. - Голубчик! Случилось несчастье!

- Что такое-с? - забеспокоился тот.

- Водка вся вышла!

Они глядели молча друг другу в глаза, как бы желая проникнуть один другому в самую душу. Затем Иван Михайлович пожал плечами и проговорил обычным угрюмым тоном, сразу утратив свое недавнее добродушие:

- Не обязан об этом беспокоиться.

- Знаю, милый. Но нет ли бутылочки?

- Спиртного не держу и держать не имею в виду-с.

Бламанже могу предложить.

- Ну, дорогой мой... Иван Михайлович! - продолжал умолять офицер. Вместо блян-манже дайте мне блянбуар!

Но Иван Михайлович, пристально поглядев на взлохмаченную голову офицера, на его просительно протянутые руки, ответил решительным тоном:

- Сам не пью-с и вам не посоветую.

И с этими словами, искоса поклонившись, он ушел вниз.

Офицер развел руками и, не то про себя, не то обращаясь к компании, проговорил:

- Вот чертов характер!.. Кабы мне такой, я бы навил веревок из жизни!

- Хотите браги? - предложил капитан. - Я себе целый туяс купил.

- И я купил браги, - хотите? - предложил учитель.

Офицер поклонился учителю и капитану, как бы благодаря, но отказываясь от предложения, и, уловив на себе пристальный взгляд иностранца, поспешил ему объяснить:

- Брага, видите ли, вроде пива, только похуже, и вроде, пожалуй, кваса, но получше его; а в общем - бурда!

Кто желает разводить в желудке лягушек, пускай пьет эту самую брагу. А я насчет водочки: о-де-ви, как говорят французы, то есть "вода жизни". И действительно, это так!

Все улыбнулись.

- Плохо жить нам без вина: жизнь печалью полна! А у нас Иван Михайлович самого-то главного и не держат... Ох, эти мне нравственные люди! - вздохнул офицер и вдруг обернулся в сторону.

- Ты чего на меня радуешься, Душков? - спросил он, увидя перед собою рослого солдата в белой рубахе, в накинутой на плечи шинели.

Солдат, только что подошедший, стоял перед офицером, улыбаясь, сверкая весело глазами и зубами и приложив к козырьку руку, как бы отдавая честь по-военному.

- Ты чему-то рад?

- Так точно, ваше высокородие: подбзрел! - ответил Душков.

В его тоне и в голосе слышалась фамильярность, приятельская нота.

- Что подбзрел?

- Водки полон туяс!

- Водки?! Где?!

- Старичишка у машины греется... Самосидку везет.

- Самосидку?... Арестовать!

- Наложил арест, ваше высокородие. В каюту поставил.

Офицер весело потер руки.

- Мой адъютант, - рекомендовал он Душкова. - Фельдфебель, ближайший сотрудник мой и секретарь.

Способнейший человек!.. Господа, - обратился он к попутчикам, водочку, слава богу, достали; вот теперь, значит, можно и побеседовать.

- А что это такое - самосидка? Я не понимаю, - заинтересовался иностранец.

- Самосидка, - объяснил офицер, - это самая сквернейшая водка в мире! В России она самогоном называется, а у нас в Сибири - самосидкой. Это одно и то же.

Ее гонят здешние бабы... деревенские женщины... пейзажки... Гонят в лесу, в хлеву - контрабандой, без акциза...

Из пуда муки выходит целая четверть, да за работу двугривенный... Дешево и сердито! Можете судить, что это за нектар получается. Сама она крепчайшая, цветом зеленая, на вкус противная... Пьешь - точно гвозди глотаешь.

А наши сибирские остяки-инородцы ее очень правильно называют: "огненная вода". Ловко сказано! Именно - огненная... Ну-с, - обратился он снова к Душкову, - где ж старичишка?

- Обмер, ваше высокородие. Очень перепугался, - отвечал солдат прежним веселым тоном.

Оба они, видимо, ликовали. Оба улыбались, глядя друг на друга, но, несмотря на улыбки, вид у них был какой-то сумрачный. Воротники у них и околыши на фуражках были черные, канты на шинелях и на погонах тоже черные, и оба они производили впечатление чего-то мрачного

и траурного.

- Что за полк? - спросил иностранец, наклоняясь к капитану и разглядывая мрачные мундиры.

- Тюремная команда, - шепнул в ответ капитан и громко обратился к офицеру: - Водки не дурно бы выпить... Только уж вы старика-то не трогайте. Шут с ним!

- Зачем трогать! Мы с ним по-приятельски войдем в соглашение. Я заплачу ему хорошо... Честью клянусь, хорошо заплачу, да еще спасибо скажу. И его самого напою. Эй, Душков! Айда! Веди к старику.

Они ушли, а на палубе начали накрывать для капитана обеденный стол.

II

Когда свечерело, на мачте у "Сокола" и на задней барже подняли по фонарю. Они висели высоко над рекою среди сумерек и простора ясными точками, как две новые планеты. Из-за холмов поднималась луна огромным бледно-розовым шаром, легким и золотистым, почти прозрачным. Пароходные колеса монотонно шумели и будоражили воду, и далеко за "Соколом" тянулся по Иртышу волнистый след. Дальний огонек баржи и луна отражались в реке, и серая зыбь и темные стремнины сверкали, чернели и дробились на бегу золотыми брызгами.

На палубе вокруг стола сидели с капитаном прежние пассажиры. Перед ними был чай в стаканах, перед некоторыми брага, а перед офицером в чайнике стояла водка, которую он иногда разливал по чашкам и, выпивая, закусывал огурцом. Рядом с офицером сидел владелец водки, кудрявый старик, крепкий и низкорослый, в теплой поддевке татарского покроя.

- Для меня вы очень интересный человек, - сказал, обращаясь к нему, иностранец. - Все, что вы говорили о себе, так для меня неожиданно... Как ваше имя, чтобы я мог называть вас?

Старик крякнул, покосился на офицера и на учителя, потом взглянул на чиновника и, привставши, отрекомендовался:

- Прежде был переяславский мещанин Николай Саввич Щеголихин, а теперь, как уже доложил, являюсь ссыльным Российской империи... ограничен в правах и могу присутствовать только на той стороне реки, а вот на этой - не могу. Еду хотя посередине того и другого, между двух берегов, но контрабандой... И вот господин офицер меня давеча в дрожь вогнали: думал, сейчас меня схватят за мою самосидку и - конец моему незаконному путешествию! Оказалось же, господин офицер, вы приятный человек и зла мне несколько не желаете. Давайте поэтому - еще по чарочке?..

Офицер, видимо захмелевший, взял чайник, налил две чашки, потом поднял высоко над головою руку и, погрозив в воздухе пальцем, сказал Щеголихину:

- Какие там ссыльные... какая там контрабанда... Не болтайте пустого! Вы ничего не говорили, я ничего не слышал. Пьем - и никаких разговоров!

Оба выпили. Офицер потряс головой и, обмакнув огурец в солонку, откусил половину, а Щеголихин осторожно, почти нежно, отломил от черного хлеба кусок корки, поднес его к одной ноздре, потом к другой, понюхал обеими ноздрями и положил обратно.

- А вас, позвольте узнать, как величают? - спросил Щеголихин, глядя на иностранца ласковыми глазами.

- Меня зовут Хельсн... Марк Хельсн. Родина моя Норвегия, моя специальность - химия. Я давно знаю Россию, люблю ее язык, люблю русских людей, кроме тех, которые сами называют себя "истинно русскими". Извиняюсь, я, может быть, говорю резко, но от этих слов веет чемто затхлым, недоброжелательным, и я не люблю их.

- Русский язык - прекрасный язык, - похвалил Щеголихин, рассматривая на свет пустую чашку и подвигая ее к офицеру. - Особенно, знаете, ежели сердце излить, то ни на каком языке так не объяснишься. Впрочем, я никакого языка и не знаю, кроме русского.

- Например, некоторые слова у вас удивительно красивы в звуковом отношении, - продолжал Хельсн. - Возьмем хоть слово "заподозренный". Как звучит!

- Заподозренный?.. Да, хорошо, - согласился учитель. - Никогда не обращал внимания на это слово.

А хорошо.

Щеголихин перебил его:

- Вот тоже прекрасные есть слова... Например: "угрызение". Или, например: "подстрекательство".

- Есть и такие слова, - добавил чиновник, - как "перереформированный", где сам черт ногу сломает, или не ногу, а язык.

На пустынном берегу вдалеке пылали костры.

Увидев их, все замолчали и стали глядеть...

Учитель поднялся вдруг со стула, прошелся возле компании взад и вперед быстрыми шагами, нервно потирая руки, и опять сел на прежнее место. Потом опять вскочил и, ни к кому не обращаясь, проговорил почти нараспев:

- И подстрекательство, и заподозренный, и перереформированный - все это слова, и только слова!.. И совесть и доблесть, идея и люди - все это тоже слова! И только одни слова. И разум и вера - слова и слова!

- Даже самое слово "слово" есть тоже только слово! - добавил офицер.

Все подняли головы.

- Вы правду сказали, - внезапно остановился учитель возле Хельсна, не обращая внимания на офицера. - Правду сказали, что у нас, у русских, много хороших слов.

О, к сожалению, слишком много хороших слов! Но слова так словами и остаются! А есть слова... хорошие! драгоценные!.. А черта ли из того?..

Все удивленно глядели на учителя и молчали. Только чиновник, предчувствуя что-то неладное, вслух пробормотал:

- Вот так история!

- Хуже географии! - добавил офицер и весело поглядел на компанию.

Учитель не был расположен шутить и, пользуясь репликой, ответил презрительно:

- Дело не в географии.

И вдруг загорячился, возвышая голос почти до крика:

- А хоть бы и в географии!.. Я вашу сибирскую географию-то четыре года изучаю. Четыре лучших года из жизни! Тоже вот как и он, - указал он на Щеголихина, - нахожусь между двух берегов. Не знаю, как он, а я никому зла не сделал. Я хотел только счастья народу... Может быть, он виноват перед обществом... может быть, на его душе есть грех...

Учитель невольно остановился на полуслове: Щеголихин изменился в лице и медленно вставал, опираясь обеими руками о стол.

- Простите, простите! - горячо крикнул учитель. - Я не хотел вас обидеть. Я не то сказал, что хотел.

Но Щеголихин уже начал говорить. Он говорил тихо, почти шепотом, с расстановкою и внятно, хотя волнуясь:

- Видите ли... нужда бывает на свете... Нужда!.. Чго же мне делать было: дочь свою, что ли... родную дочь продать? Вот и сделал я дело... Скверное одно дельце сделал.

И сделал я его, а дочь свою... не продал! Утвердился во мнении - и не продал!

Он опять сел. Руки у него дрожали, взгляд растерянно блуждал по столу. Увидав чайник, Щеголихин налил себе в чашку, молча выпил и, понюхав обеими ноздрями корку, положил ее обратно.

- А что вы изволили сказать "грех перед обществом", - добавил он, - так это все пустяки. В своем позоре ничего я особенного не вижу... Стеснение для себя вижу, неудобство вижу, но чтобы душой скорбеть - этого во мне нет. Потому что я, извините, это самое общество-то... не уважаю!

Последнее слово он как-то выкрикнул, точно оно не сходило свободно у него с языка, как другие слова. Выкрикнул - и замолчал.

- Сказано смело, - зло усмехнулся чиновник.

Щеголихин поглядел на него и продолжал, но более спокойно, более уверенно:

- Я человек неученый... За три фунта баранок меня учили... в год за три фунта баранок. Но все же я кое-что знал в свое время и любил кое-что. Людей выдающихся ценил и сейчас ценю. А ваше общество, позвольте вас спросить, как ценит своих лучших людей?

- Памятники им строит.

- Памятники... Вон Федор Михайлович Достоевский вместо памятника-то на каторгу угодил... Зимой, в мороз, в реку лазил за упавшим топором... падучую болезнь себе нажил... А уж то ли не человек был!

- Ну, это дело особое, - возразил чиновник.

- Пусть будет особое, - согласился Щеголихин. - - Ну, а вот Никитин Иван Саввич, известнейший поэт русский...

по бедности двор постоялый держал. Это тоже дело особое? Щи варил да подавал всяким кулакам да извозчикам, водку откупоривал жуликам да всяким, может, грабителям... Горевал, страдал!.. А Суриков Иван Захарыч?

Желудок с голоду в комок у него ссыхался, старое железо на морозе пудами ворочал.

Кольцов Алексей Васильич - свиней пас! Кричал он нам, бедняга: "Тесен мой круг, грязен мой мир, горько мне жить!" А мы вот все свое говорим: дело особое! Помяловский - крупный талант - спился с тоски от вашего общественного мнения, да так и погиб ни за грош. Успенский Николай - этот в ночлежных домах пресмыкался, милостыню просил. Дочь родную плясать заставлял под гармонью; на улице бритвой горло себе перерезал... Э-эх! А ведь головы-то какие были! Души-то! Сердца-то такие!.. Писатели были, поэты!

Печальники наши народные!..

- Откуда вы все это знаете? - удивился учитель.

- Да это ни для кого не секрет. Это в книжках написано. Откуда все люди об этом знают, оттуда знаю и я.

Вычитал из книжек - вот и знаю.

Он, видимо, волновался и бесцельно шарил по столу обеими руками, точно нащупывая себе опору.

- Шевченко был тоже - Тарас Григорьевич - украинский певец... Гений! Талант! А какое гонение видел?

В солдатах был не в зачет, в степи оренбургской да в тамошних крепостях содержался, а уж про нужду его и говорить нечего! Как про него господин Некрасов великолепно выразился: "Был оскорбляем он всяким невеждою..." Вот они, памятники-то ваши каковы!

В голосе его дрогнули слезы.

- Нравится вам людей хороших травить, травить, а затравивши, начать уважать: вот, мол, как перестрадал человек. И хороший был, и умный был, а - пострадал.

Давайте, мол, начнем его теперь почитать! А уж он-то, человек-то, давно умер, и ему на все ваши почести, извините ?а выражение: тьфу! И больше ничего.

- Bravo, bravo, господин Щеголихин! - воскликнул Хельсн. вставая и протягивая старику руку.
- Я вас искренне уважаю за эти слова. Вы правы: ваше общество любит жертвы и требует себе жертв. Я пришелец, чужой для вас человек, но я не хотел бы быть сыном вашей родины, которую я, повторяю, очень люблю. Я люблю ее, но виню: вы не цените ваших лучших людей, вы злорадствуете над ними, травите их, любуетесь их агонией и величаете их же, но уже умерших да заключенных.

- Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, - тихо и грустно добавил Щеголихин, перебивая речь Хельсна. - К вам посылаются мудрые и пророки, а вы иных убиваете, иных будете бить и гнать из города в город... Да! вздохнул он. - Приходили и к нам хорошие люди, приходили открыть нам свет истины, а мы...

- А вам надобно жертв, лишений, чужих страданий и мук, - вновь заговорил горячо Хельсн, обращаясь в сторону чиновника. - Для вас это какое-то удовольствие. Но я хотел бы вас спросить: как смеете вы требовать всего этого? Как смеете вы насиловать чужую жизнь, чужую и лучшую? Надо шире дорогу вашим талантам, а не уже.

Легче им жизнь, а не тяжелей. А вы умиляетесь: как претерпел! И заморив одних, требуете и сейчас от других, чтоб и они претерпели ненужные гонения. Для чего? Вы требуете от ваших талантов, чтоб они были нищи, были в ссылке... Нет! Культурные нации этого не желают для своих лучших граждан!

Щеголихин поправил его:

- У нас, я вам скажу, очень много почетных граждан.

Особенно потомственных почетных. А настоящих-то граждан и нету. Нет ли у вас займы, у варягов? Потому что земля наша велика и обильна, а граждан в ней нет. Уж извините, ваше высокоблагородие, - обратился он к офицеру, это говорит человек ссыльный...

- Для меня вы сейчас человек не ссыльный, а...

а пьяный! - пробормотал в ответ офицер.

- Покорнейше благодарю! - улыбнулся Щеголихин. - Действительно, вы сказали сущую правду. Только, не в обиду будь сказано: водка - великое дело! За водку любой осгак довезет меня в челне - куда захочу, хоть до Петербурга. Вот и вы, господа: не будь у меня водки, вы бы меня, может, схватили: не ездите, мол, человек бесправный! Теперь же я чувствую себя обеспеченным... Вот она, сила-то какая заключается в водочке-то на русской земле!

- Неужели только в водочке видите вы всю силу? - почти вскрикнул учитель.

- Большущая в ней сила по нынешним дням и людям, - ответил, не смущаясь, Щеголихин. - Но подождем, не долг уж срок. Скоро разом все станет кверху ногами.

- А головами куда? - презрительно спросил чиновник.

- Головами-то?... - переспросил в свою очередь старик. - Известно рогами вниз!

- Вы проповедуете ересь, господин ссыльный!

- Это он спьяну! - заступился офицер.

- Будь пьян, да умен, говорит пословица! - не унимался чиновник.

Хельсн тоже вступился:

- Давайте лучше говорить о достоинствах вашей страны. Какие громадные возможности у вас впереди!

Сколько у вас всюду и всяких самородков: то глыба магнита, то медь, то самородок золота чуть не в обхват, а то самородки-люди, один другого интереснее, один другого значительней - мечтатели, мыслители, поэты, изобретатели, и всё это, все они от земли, от корней самого народа!.. Да, страна ваша покажет в будущем всем небывалый пример!

- Нам только толчок нужен! - добавил Щеголихин. - Знаете, как на бильярде: кием по шару, - крепкий удар:

трах! - и дело сделано. Вот!

После этого все задумались и долго молчали.

III

Ночь становилась все красивее: река играла и золотилась, и звезды точно купались в ее зыби; черной зубчатой стеной тянулись по берегу холмы: ни звука не доносилось с земли, не виделось нигде огня, не чувствовалось близости человека; только внизу под бортами шумела вода, которую бил неустанно крыльями "Сокол" и тяжело раздвигал ее своею грудью.

Отвернувшись от компании, офицер сидел без фуражки, с расстегнутым воротом мундира и глядел на луну, на речные стремнины, на берега. Одной рукой он приглаживал волосы, разлезавшиеся в разные стороны, а другой рукой придерживал холщовый мешок, только что

принесенный ему Душковым.

- Это гусли... простые дешевые гусли, - проговорил он, развязывая мешок и вытаскивая нечто похожее на большую треугольную чиновничью шляпу. - Два с полтиной на Волге были заплачены. А как поют!.. - Эй, вы, гуслимысли! воскликнул он неожиданно и всем корпусом повернулся вновь к компании. Он тронул струны ловким и легким движением пальцев и приложил ухо почти к самым гуслиям, любовно прислушиваясь к их голосу.

Засучив немного рукава мундира, он начал что-то играть, что-то грустное, легкое, точно сказочное. Все притихли.

Никто не ожидал, что этот офицер с грубым лицом и грубым голосом, выпивший чайник водки, мог извлекать из дощатого ящика такие звуки, полные тоски и вместе неги. Даже лицо его преобразилось в эти мгновения; оно потеряло выражение грубости, власти и довольства, оно стало кротким, задумчивым и ясным.

Все с удивлением глядели на офицера, а он, не обращая ни на кого внимания, играл и, видимо, наслаждался.

- Вот так так, ваше высокоблагородие! - воскликнул Щеголихин, когда офицер положил ладони на замолкнувшие струны. - Вот так превращение случилось!

- А что? - спросил офицер.

- Да как вы играете-то удивительно!

- Что ж такое: ведь вы вон за три фунта баранок учились, а про литераторов русских того наговорили, что и мне не все было известно. А ведь я корпус кончил, юнкерское кончил... в академию собирался... А теперь вот - конвойным служу... каторжников с места на место переправляю... Мало ль чего в жизни не случается!

Он протер глаза, точно после долгого глубокого сна, и добавил:

- А я, собственно говоря... композитор... в душе. Музыка - моя жизнь. Только заниматься ею не приходится...

И ноты, бывало, писал, и песни сочинял... А теперь арестантов вожу... От тюрьмы до тюрьмы вся моя дорога...

Дайте-ка еще самосидочки: она, проклятая, помогает.

Хельсн, долго вглядывавшийся в офицера, встал и заговорил, прерывая молчание, овладевшее было всеми:

- Удивляюсь... Понять не могу... Все вы какие-то несчастливые, безвольные... Точно у вас у всех есть в запасе еще несколько жизней: не удалась одна - не беда, будет другая, и третья, и пятая, и десятая... А ведь жизнь - только одна, и, кроме нас самих, никто ей не хозяин.

- Э, все у нас здесь таковы, - вздохнул капитан. - У всех на душе лежит какой-нибудь камень. Где у нас счастливые? Нет их. У всякого изломана жизнь, у всякого и на душе камень и за пазухой камень. Человек человеку волк! Все мы плывем между двух берегов: от одного берега отошли, а к другому не подошли. Ну, и "плывет наш челн по воле волн". Глупо, конечно. Но что ж поделаешь!

Все молчали; все приуныли. Все задумались о жизни - о своей, о чужой и об общей, о той жизни, которая связывает всех людей, бывших и будущих, во что-то единое.

- Бывало, романы писал... а теперь - тюремщик!.. - вздохнул офицер. Бывало, в Омске у острога Достоевского плакал от чистого сердца... А теперь...

- А я вам скажу, - перебил его Щеголихин, - я баням Коробейникова поклонялся в Омске!.. Да! Баням, в которых Федор Михайлович бывал арестантом... Да. Поклонялся им - баням! Вот как! А вы давеча про памятники говорили. Вот вам и весь у нас памятник великому человеку: бани! Да и те не такие уж, как в его были время.

- Странно мне, господа, очень странно все это слышать, - сказал Хельсн с искренней грустью.

- Да. Чуть не целую ночь всё сидим да друг другу на что-то жалуемся. Конечно, это странно, - согласился учитель. - Все жалуемся да плачемся, точно евреи на реках вавилонских... Только нет у нас, как у них, одного общего Вавилона: у нас у всякого свой Вавилон! Все мы разрознены и одиноки, потому мы так и бессильны. Нет у нас общей веры, одного для всех общего дела. Жалкие мы люди!

Он закрыл рукою глаза и замолчал.

- Да. Продали мы черту души! - подтвердил офицер и начал рассеянно перебирать струны, потом откашлялся, выкрикнул снова: - Эй, вы, гусли-мысли! - и тихо запел густым надтреснутым басом:

На реках вавилонских

там сидели мы и плакали,

когда вспоминал" о Сионе...

Голос его был груб, но струны заливались своей особой песней печальной, и нервной, и прекрасной.

Там пленившие нас требовали

от нас слов песней и притеснители

наши - веселья: пойте нам из

песней сионских..

Щеголихин следил за мотивом с напряженным вниманием и, уловив момент, подтянул офицеру высоким тенором, с дрожью в голосе:

- "Како воспоем песнь господню на земли чуждей!"

- "Как нам петь песню господню на земле чужой!" - продолжал офицер, прислушиваясь к Щеголихину.

И оба они - один по-русски, другой по-церковно-славянски - продолжали псалом, то поджидая один другого, то обгоняя. Выходило странно, но хорошо.

Все слушали. Но каждый думал о чем-то своем.

Всякому становилось больно за свою надломленную изъязвленную жизнь; всякому грезился свой Иерусалим, который он и оплакивал.

Все молчали и слушали.

- "Если забуду тебя, Иерусалим, да будет забвенна тогда правая рука моя!" - угрюмо басил офицер, с любовью перебирая звучавшие нежно струны и внимательно прислушиваясь к голосу Щеголихина.

А тот, словно в каком-то самозабвении, восторженно напрягаясь и боясь как бы не отстать от совместного пения, покрывал своим трепетным тенором голос офицера и восклицал по-церковному:

- "Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвенна буди десница моя!.."

И все мало-помалу стали чувствовать друг в друге случайных и чужих людей, у которых не было до сих пор и теперь еще нет общего единого горя, нет общего Вавилона. И радость, и плен, и надежды - у всякого свои.

Хельсн понял это раньше других и ему стало жаль их.

Он хотел встать и крикнуть им:

"Проснитесь! Проснитесь же, русские люди!"

Но прежде чем он успел сказать, чиновник громко зевнул и проговорил лениво:

- Пойдемте... спать!

1903